

Л.И. Смирнова

НАС ВСЕХ ПОДДЕРЖИВАЛА АБСОЛЮТНАЯ УВЕРЕННОСТЬ В ПОБЕДЕ

Каждый год к концу января я начинаю себя чувствовать тревожно. Это приближается день освобождения Ленинграда от блокады, и как бы ни было парадоксально то обстоятельство, что это день снятия блокады, а не начала ее, и надо бы радоваться, но получают-ся дни тяжелых воспоминаний, потому что к этому времени было за плечами много потерь и невыносимых тягот. Если бы мне предложили прожить мою жизнь заново, включая войну, но так, чтобы я ничего не знала о том, что ждет меня, то как ни соблазнительно прожить вторую жизнь, я бы не взяла ее именно из-за блокады. И.С. Тургенев написал: «Хочешь счастья — познай сначала горе». После войны я всегда чувствовала себя счастливой, что бы ни было; и еще долго было странное чувство, что мне подарена жизнь кем-то, кого уже нет, и я проживаю и еще чью-то жизнь.

...За три месяца до войны мне исполнилось 16 лет, я была полна радостями того возраста, школьными заботами. Мы с подружкой испытывали даже чувство влюбленности в одного и того же мальчика. Всей компанией мы часто ездили гулять в парки Пушкина. День войны пришел неожиданно. Был прекрасный летний воскресный день 22 июня. Мы с подружкой собрались на весь день на остров Вольный (в конце Васильевского острова), который вдавался в Финский залив своей узкой болотистой частью. У ее родителей, как у многих ленинградцев, стояла там моторная лодка, туда обычно ездили с целью покататься по заливу. На Вольный с Голодая перевозил на лодке старенький лодочник. В то солнечное утро он был очень мрачен и молчалив, а



Людмила Ивановна Смирнова, научный сотрудник Отдела Кавказа, Средней Азии и Казахстана. Во время войны работала санитаркой в госпитале. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

мальчики, попрыгавшие в лодку, без умолку гадали о войне. Подруга насмешливо заметила: «Разве мальчишки могут говорить о чем-то другом», — а лодочник печально ответил: «Началась война!». Так, в лодке, посреди заливчика между Вольным и Голодаем, я узнала о войне. На острове уже не было беззаботной атмосферы. Громко звучала музыка по радио, потом передавали речь Молотова. Мужчины с мрачным видом затагивали лодки в сараи, женщины молча собирали вещи и еду. Остров опустел.

В то лето мы, школьники, работали по заданию школы и ЖАКТа. Я разносила повестки военкомата по домам. Квартиры были какие-то пустые, люди очень молчаливые, и мужчин я почти не встречала, часто мне говорили, что они уже ушли добровольцами. Очень грустно было выполнять эту работу.

Вскоре нам поручили разбирать перегородки на чердаках домов (раньше каждая квартира имела свой чердак для сушки белья). Мы ломали сухие пыльные перегородки, без конца чихая от пыли. Доски выносили во двор, а оставшиеся балки и прочее красили специальной белой противопожарной краской. Чердаки стали колоссальными — от края и до края дома. Мы и представить себе не могли, как наша работа поможет впоследствии при тушении «зажигалок». На чердаки мы притаскивали воду и песок.

Кроме этих работ мы, школьники, помогали переоборудовать некоторые школы под госпитали. По молодости лет мы успевали и побаловаться, и посмеяться, и совсем не верилось, что идет война. Верить начали тогда, когда стали провожать женщин с детьми в эвакуацию. Я помогала женщинам нести легкие чемоданчики с одеждой, вести детей. Летом уезжали еще неохотно, многих заставляли, они отбивались, а те, кто уезжал, были в полной уверенности, что скоро вернуться. Из нашей квартиры уехали все соседи. Мы с мамой должны были уехать к отцу, который работал тогда по призыву Кирова в Хибинах, где наша семья прожила несколько лет, но отец прислал телеграмму, чтобы мы остались, так как у них тоже идет эвакуация на Урал и в Казахстан. Так мы остались в Ленинграде.

Первые известия о приближающемся фронте принесли нам женщины, которые были отправлены на рытье окопов в Лужском направлении. Под натиском немцев они бежали оттуда. Вскоре заняли Павловск и Пушкин, где жила семья моего дяди, и он (семья эвакуировалась) едва успел приехать на одном из последних грузовиков, которые всю дорогу бомбили. Грузовики вынуждены были останавливаться, а люди — прятаться по канавам и кустам.

Вскоре в магазинах начали пустеть полки. Мама давала мне деньги, но купить практически было нечего, и я несколько раз покупала кофе в зернах — как он нам помог потом! Мы пекли из гущи скользкие лепешки на касторке, но, к сожалению, кофе кончился уже в ноябре. Еще хуже стало с продовольствием после пожара на Бадаевских складах, где хранились продукты для города. Они горели несколько суток, большое пламя и дым можно было хорошо видеть отовсюду. Мы не подозревали, что это сгорали и наши жизни.

Город стал готовиться к обороне и уличным боям. Мы помогали засыпать песком стеклянные витрины на первых этажах, оставляя отверстия для оружия, рыли окопы. Помню, как во время налетов людей заставляли прыгать в окопы в Румянцевском (Соловьевском) саду. Мы помогали оборудовать бомбоубежища в подвалах домов, в которые спускались только вначале, потом старались не ходить туда — казалось, что наверху ты более свободен, и вообще — чему быть, того не миновать! Дома были старые, толстостенные, считалось наиболее безопасным вставать у капитальной стены или между дверями на лестнице.

Осенью мы пошли в школу, но оказалось, что в ней расположился госпиталь, и нас послали в школу на 8-й линии около Большого проспекта (мы жили на 2-й линии Васильевского острова). Занятия шли безалаберно, учителя чужие, состав ребят непостоянный из-за частых переводов из школы в школу. Однажды в школу попала бомба, и нас направили на 5-ю линию. Это была моя последняя школа в осажденном городе.

Наступил декабрь. Было очень темно, холодно, и без конца бомбили. Чаще всего мы учились в бомбоубежище под зданием школы, но туда приходили с детьми из соседних домов, дети капризничали, их громко успокаивали. Из программы нашего 9-го класса больше всего запомнилось объяснение закона маятника Фуко, который учительница замерзшими пальцами старалась остановить, а он все качался и не мог остановиться, потому что Ленинград постоянно бомбили, а дома остекленели от мороза. Уроки литературы казались странными сказками, неправдоподобной жизнью кого-то где-то. Наступало тяжелое время, когда голова отказывалась думать о чем-либо, кроме крошечки хлеба. Осенью мы ездили на трамвае куда-то в поля, где давно сняли капусту, но остались торчать высокие жесткие, как дерево, кочерыжки. Люди с мешками рубили их. Мы тоже набрали два рюкзака, и я удивлялась, что эта вареная жвачка такая вкусная. Но и ее съели к декабрю.

Люди боролись за жизнь как могли. Мы с мамой и бабушкой получали иждивенческие карточки, и никаких продуктовых запасов не

было. Мама строго делила наш хлеб на три части, и мы ели три раза в день эти маленькие дольки, стараясь не торопиться, медленно жевать и пить горячую воду. С водой становилось все хуже. Ее уже не было в домах, она кончалась и во дворах, куда выводили трубы водопровода. Мы потянулись к замерзшей Неве. Ближе всего нам было к Тучкову мосту. На саночки ставили бельевой бачок и ведерочко поменьше. Шли медленно, так как сил было мало везти даже эти пустые посудыны. Недалеко от Тучкова моста у набережной Макарова были пробиты проруби. Зима стояла очень морозная, проруби все сужались, вокруг них нарастали высокие наледи от пролитой воды. Чтобы достать воду, я забиралась на наледь, ложилась ничком и руку с ведром опускала в прорубь. Сзади меня держали за ноги, чтобы не соскользнула в воду. Наполнив бачок, промерзшие и обессиленные плелись домой. Здесь было еще хуже — надо было поднять воду на 4-й этаж. По нашей лестнице жильцов почти не осталось: одни уехали, другие умерли. Осталась большая семья с детьми на первом этаже, супружеская пара с тремя подростками на нашей площадке да мы в пустой квартире. Дом промерз так, что на кухне все было покрыто белой изморозью.

Еще осенью ленинградцы стали сооружать в комнатах печурки, которые быстро нагревались, и на них можно было готовить еду. Мы тоже поставили такую печурку, закрыли наглухо вторую комнату, все окна и двери заткнули половиками, тряпьем, портъерами, но это помогало мало. Трудно было с дровами. Дрова лежали в сарае во дворе, надо было принести их на кухню — мама понимала, что силы уходят, и вряд ли мы сможем за ними часто ходить. Носили дрова понемногу в мешке за спиной. Сколько бы мне ни приходилось впоследствии физически трудиться, этот труд не мог сравниться ни с чем. И однажды я опозорилась. Мама поправила мой мешок за спиной, я вдруг пошатнулась, мешок с грохотом упал, а я — расплакалась. Помню, что плакала от безнадежности, беспросветности, от того, что очень хотелось есть и мне не выдержать мучений. И еще от стыда, что заревела. Мама бросилась ко мне, подумав, что меня ушибло мешком, но сразу поняла все. Мы стояли в сыром, темном сарае. Свечка догорела, кругом стояла жуткая тишина. Мама обнимала меня, бормоча ласковые слова. Потом она куда-то ушла и вернулась с маленькой баночкой хряпы. Оказывается, она ходила к соседке и умолила ее дать немного черной кислой капусты (хряпы). Эта женщина нас тогда очень выручала. Дома мама сразу растопила печурку, и мы ели щи из хряпы, пили горячую воду раньше положенного времени. Мне молчаливо со-

чувствовали, хотя говорили о другом, а я никогда в жизни не простила себе этого малодушия, отступления от негласно установленного мужества в поведении. В то время люди страдали, мучались, но я не видела плачущих, может быть, плакали в подушку, а на людях — только те, кто получил похоронку. Нас всех поддерживала абсолютная уверенность в победе. Она жила в нас, иначе мы не смогли бы выжить. Это был не ура-патриотизм, а глубокое внутреннее чувство. Мы глубоко переживали не только ленинградское горе, но потерю советских земель, жалели военных, в смелости которых не сомневались, но понимали, что им очень трудно.

С нами жила моя няня Таня, ставшая полноправным членом семьи. Она очень любила меня и баловала. Когда я подросла, мама предложила ей уйти, поступить на работу, создать собственную семью, но она считала нас своей семьей, меня — своей «доченькой», замуж не пошла и говорила, что мы ее и похороним. Так оно и вышло. Она вернулась в декабре перед Новым годом с окопов совсем больная и вскоре умерла.

В январе 1942 года в Ленинграде наступил пик смертности. Умирали целыми семьями в квартирах или прямо на улицах. Если у умерших в квартирах оставались родственники, они заворачивали покойников в одеяла или простыни, выносили на улицу или оставляли в подъездах домов — везти на саночках на кладбище уже не было сил. Трупы подбирали специальные машины, везли в морг, а оттуда в братские могилы. 25 января, в день своих именин, умерла моя няня Таня. Мама и тетя завернули ее в одеяло, завязали, и мы с тетей повезли ее на саночках в братскую могилу за Смоленским кладбищем, где раньше было картофельное поле. Чем дальше, тем тяжелее было везти. Мы ехали, не торопясь, молча, но надо было успеть до темноты. Этот путь от 2-й линии туда и обратно занял весь день. Чем ближе мы подъезжали, тем больше видели таких же, как мы, плетущихся, закутанных до глаз людей и саночки. Дома кончились, начался пустырь, виднелись маленькие строения вдали и какие-то непонятные предметы. Подъехав поближе, мы увидели: это умершие, взрослые и дети, застывшие в самых невероятных позах. Очевидно, люди везли хоронить своих близких, но не довели, потеряв последние силы. По лицам и позам умерших можно было понять, как мучительна была их смерть. А кругом валялись детские куклы и игрушки!

Подойдя к ближней вырытой траншее, мы увидели, что длинный, темный сарай, стоявший сбоку, — морг, заполненный до отказа. Умершие штабелями лежали и у стен сарая. Дно нашей траншеи тоже

оказалось заполненным. Мы решили сами положить Таню в могилу. Я стала спускаться, ступая на выбоины и выступы. Потом тетя спустила Таню, а я осторожно повезла ее по мерзлому грунту. И уложила на дно. С трудом поднялась потом наверх, оступаясь и падая, пока не поймала протянутую тетину руку. Уже в темноте мы прибрали домой.

В январе двоюродная сестра устроилась на работу санитаркой в больницу, где для поддержания сотрудников главврач приказала раздать часть сухой горчицы, заготовленной для горчичников. Мы ее вымачивали, отстаивали, немного просушивали и пекли лепешки, едва смазывая сковородку касторкой. Еще раньше мы съели все гомеопатические сладкие шарики, какие имелись, и ни с кем ничего не случилось.

Вспоминая то время, я хочу сказать, что, несмотря на все трудности, мы жили «не хлебом единым». Мы слушали радио, при фитильке коптилки старались читать книги. Мне больше всего нравилось читать про любовь, особенно в произведениях Тургенева и Ж. Санд. И очень нравились описания пиршеств. В конце концов мама и тетя стали вслух читать кулинарную книгу Молоховец. Это было отвлечение от голодной действительности. К нам за книгами приходили и соседи по дому.

В те дни начала плохо себя чувствовать бабушка. Ей велели лежать, беречь силы, что было нельзя делать. Надо было хоть как-то двигаться, в чем мама ее все-таки убедила. Мне пришлось идти за лекарством, которое можно было купить только в аптеке на Загородном проспекте. Меня накутали, и я побрела по всей 2-й линии от Среднего проспекта до Невы, спустилась на лед у Соловьевского сада. Лед в ту зиму был очень толстый, это я знала по прорубям на Неве. К Медному всаднику вилась тонкая тропинка через многочисленные торосы. Идти было трудно, я часто останавливалась посреди Невы передохнуть. Где-то ухали орудия. Бомбежки и обстрелы пока не начинались. Было так красиво в розовато-белесой мгле. Я стою одна посреди города, вглядываюсь в берега моего Ленинграда и вдруг почувствовала его живым, молча страдающим. Но он стоял такой уверенный и гордый, как будто пренебрегал своими разрушениями, не сдавался. Насмотревшись, я будто живой воды напилась, и мне стало легче.

В феврале я устроилась на мою первую в жизни работу — рабочей на фабрику «Красный Октябрь», где до войны выпускали пианино, а в войну — продукцию для фронта. Сначала работала на дворе, потом нас послали колоть лед на набережной у моста Лейтенанта Шмидта и Академии художеств. Мне выдали большие рукавицы и лом, который вываливался из рук. Вскоре нас послали за город, на окопы, очищать

их от завалов снега, чтобы солдаты могли ими пользоваться в случае надобности. Договорились все прийти к одной из работниц, чтобы ехать всем вместе. Встала я ночью, в 4 утра была у нее, и мы отправились пешком к Финляндскому вокзалу, откуда уходил наш паровой поезд часов в 5 или 6 утра. Надо было доехать до станции Пери. Приехали мы только к вечеру. Из-за обстрелов и по другим причинам поезд часто останавливался, мы выходили и «рассыпались».

Нас поселили в сараях и бывших конюшнях, где были устроены нары. Спали мы в одежде, стараясь прижаться друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. Нас кормили три раза в день, конечно блокадной едой, но хорошо помню горячие черные кисловатые щи, после которых хотелось спать. Мы целыми днями выгребали лопатами снег из окопов, но снег уже таял и стекал обратно в окопы. Лопаты со снегом были очень тяжелыми. А когда над нашими головами высоко в небе пролетали бомбардировщики бомбить наш Ленинград, работа валилась из рук. По направлению самолетов, по отзвукам бомбежки мы пытались определить, какой район бомбят, плакали от страха за своих и посылали проклятия фашистам. Вскоре самолеты летели обратно, облетченные, с другим, высоким звуком, а мы пытались предсказать, что они натворили в Ленинграде. И так было каждый день...

Однажды усталые мы брели в свой сарай и, увидев попутный грузовик, попросили нас подбросить. Солдаты подняли нас в кузов. Завязался разговор, солдаты очень нас, ленинградцев, жалели. Мы все спрашивали их, когда же они погонят фашистов. Нас успокаивали, обнадеживали. А затем солдаты достали из-за пазухи свои краюхи хлеба и отломали нам всем по куску. Нам было неудобно, отказывались, но они так искренне угощали и так сочувствовали нам, блокадникам. Живы ли эти щедрые солдаты, где-то они?

В Пери мама прислала мне письмецо, из него я узнала, что дядя ушел на фронт, тетя с ребятами переехали в комнату, которую им выделили, а моя любимая бабушка, не выдержав голода, умерла. У мамы не было сил везти бабушку на кладбище, она могла довести ее на саночках только до морга — и всю жизнь потом каялась. После войны мы с мамой нашли ее в списках похороненных на Пискаревском кладбище. В то время там на траншеях ставили столбики с годом и месяцем захоронения, количеством погребенных (на бабушкиной траншее стояло «3 тысячи»). Я очень любила бабушку и переживала ее смерть. Вспомнилось, как осенью, когда немцы подошли к Ленинграду, моя бабушка тихо, спокойно сказала маме: «Не может быть, чтобы немцев пустили в Ленинград, этот город не отдадут. Но на всякий

случай ты возьми топор и встань у дверей, не открывая, а если ворвутся — то бей, не жалея. А Людмилу мы спрячем». Мне тогда стало страшно именно оттого, что это говорила моя тихая, тактичная, скромная бабушка, которая всегда хорошо относилась к людям. Мама осталась в городе одна.

С окопов я вернулась в мае и поступила работать санитаркой в больницу Водников на Васильевском острове, Сьездовская, 15. Когда-то это была первая грязе- и водолечебница. Во время войны она стала небольшим стационаром, где лечили и подкармливали обессиленных блокадников. Вспоминаются врачи, медсестры, санитарки, которых было очень мало, но работали они самоотверженно. Мы неохотно уходили домой, в пустые холодные квартиры. Здесь казалось и не так страшно. Меня назначили связистом, в ночное время. Я сидела в кресле около громкоговорителя, где всегда звучал ленинградский метроном, а во время ночных налетов должна была оповещать все посты, чтобы они принимали боевую готовность на случай необходимости переноса больных. А как хотелось спать после дневной работы! Кроме основной работы, нас посылали на разгрузку дров с баржей на Калашниковой набережной. Мокрые скользкие бревна скатывали прямо на панель, привозили в больницу, пилили, кололи, сносили в подвал. И все это делали голодные немощные женщины и мальчики допризывного возраста. Посылали нас разбирать на дрова и разрушенные дома в Новой Деревне, на набережной Макарова (там, где сейчас стоят белоснежные туристские корабли и «Метеоры»). Разбирать дома было тревожно — остатки балок, лестниц, полов обваливались под ногами, стояла едкая пыль, но главное то, что везде были остатки давно исчезнувшей жизни. Мы смотрели на ненужную куклу, искореженную кровать, сломанный стол... Было тяжело. У меня сохранились некоторые справки тех лет и рекомендации в комсомол от двух старых партийных сотрудниц.

Казалось, все люди, лежавшие в больнице, были старичками-скелетами. Не верилось, что это люди средних лет и молодые. Ранняя седина, громадные от голода глаза, полные страдания и надежды, улыбка, открывавшая все зубы от первого до последнего — настолько человек походил на скелет. И эти люди были счастливы, что они вместе, что им дают лекарства (им бы дать побольше еды!) и кормят хоть как-то три раза в день горячей пищей. Лечили их, скорее, психотерапией: худая, тоже голодная потемневшая врач, но аккуратно причесанная, в (по возможности) чистом халате, входила в палату с улыбкой, шутками, приветливыми словами, садилась по очереди к каждому больному, слушала его, советовала. Больные заранее готовились к встрече с вра-

чом в определенный час. Радостно поздравляли друг друга с советскими праздниками или победами на фронтах и как бы на некоторое время оживали, говорили о военных и блокадных делах. Особенно мне помнится один длинный очень ослабевший старик, который в уме занимался своей высшей математикой и даже подсчитал мне, сколько километров я прохожу за день при своей работе. Были умирающие подростки — девочки и мальчики, которые ожили при регулярном питании и внимании персонала. Но одного мальчика, Колю, я запомнила навсегда. Его привезла мать совсем безнадежным, маленьким, бессильным. Через день-другой он немного ожил, но ел через силу. Приходила мать и кормила его. Мне сказали, чтобы я его всячески уговаривала есть. Он оказался страстным любителем книг и знатоком серьезной литературы. Он в восторге приподнимался с подушки и, глядя огромными восторженными глазами и улыбаясь всеми зубами, очень интересно говорил. Оказалось, что ему всего 15 лет. Больше всего он любил «Дон Кихота», считая его гениальным произведением, и был просто сражен, что я еще его не читала. Просил мать принести книгу, и она действительно ее принесла, эту толстую, тяжелую, изданную на хорошей бумаге книгу. Разговаривать с ним было интересно, но много нельзя, его надо было покормить, а он не ел, что было плохим признаком.

Однажды утром я пошла к нему, но кровать была пуста. Коли не стало. Многие годы хранилась у меня его книга, и всегда при речи о Сервантесе я вспоминаю Колю. Больница многим поддержала силы, вернула к жизни.

В дни снятия блокады я лежала в больнице, и все счастье освобождения, потоки радостных слез были за ее стенами. Бегали друг к другу сестры, больные и врачи, шумели, целовались. На улицы, говорят, из своих мрачных комнат высыпали все живые блокадники и бросались, незнакомые, друг к другу в объятия. Радовались, что не будут сыпаться на нас бомбы и снаряды, что прибавят еды. Но у некоторых организм так был подорван, что все-таки еще умирали и умирали. И все же, несмотря ни на что, впереди была надежда на жизнь.